

ГОРОДСКАЯ МИСТИКА

НОЧНОЙ АУДИТОР

Сальдо. Книга третья



Nik Agent

**Ночной аудитор.
Сальдо. Книга третья**

«Автор»

2026

Agent N.

Ночной аудитор. Сальдо. Книга третья / N. Agent — «Автор», 2026

Маяк в Вышегорске мигает уже семьдесят шесть лет — по вспышке на каждую незакрытую строку. В Архиве судовых ролей стоят сто девяносто строк, все «Ожидает: море»: флот села ушёл на север в сорок девятом и не дошёл до горизонта. Смену аудитора тут не принимал никто с того же года — потому что её должна принять большая вода. Матвей Снегирёв приезжает на маяк по зимнику — вместе с хранителем гельмарской картотеки и перчаткой, которую семьдесят шесть лет ждёт рука. Впереди самая долгая сверка цикла: очередь, качающаяся на воде, юнга, который шёл к маяку шестьдесят два года, человек в сером, вернувшийся за залогом отца, и вопрос, на который нет регламента: как разрешить флоту прийти домой. Третья, заключительная книга цикла «Город, где смерть ведёт учёт». Тихая городская мистика о долге, очередях и людях, которые продолжают работать, когда вокруг гаснет свет. Читается и без первых книг — но одна вспышка маяка сильнее, если вы слышали бой гельмарских часов.

Содержание

Пролог	6
Глава 1. Заявка	8
Глава 2. Зимник	10
Глава 3. Вышегорск	12
Глава 4. Архив ролей	14
Глава 5. Качающиеся строки	16
Глава 6. Человек на льду	18
Глава 7. Юнга	20
Глава 8. Сто девяносто	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Nik Agent

Ночной аудитор. Сальдо. Книга третья

Ночной аудитор. Сальдо

Автор: nikagent

© nikagent, 2026

Все права защищены. Копирование, воспроизведение и распространение текста или его частей без письменного разрешения автора запрещены.

Все персонажи и события в этой книге вымышлены. Города Староволжск, Гельмарск и село Вышегорск не существуют, совпадения с реальными людьми, организациями и населёнными пунктами случайны.

Книга относится к городской мистике и содержит атмосферные сцены, связанные с темой смерти в символической подаче. Возрастная категория: 16+

Пролог

Маяк в Вышегорске мигает уже семьдесят шесть лет. Он не предупреждает — он считает.

Считает строки. Сто девяносто вспышек в час, вспышка за вспышкой, весь световой круг: смотрительницы Вышегорска с тысяча девятьсот сорок девятого года делают приёме одну и ту же пометку в вахтенном журнале — «счёт в норме». Счёт, который в норме, — это счёт, который не изменился. Измениться он может только в одну сторону: вниз. Ни одна строка за семьдесят шесть лет не закрылась. Поэтому дед говорил внучке, а внучка говорит внукам местным: маяк — не про корабли. Маяк — про то, что город ещё помнит.

* * *

А начиналось всё в ночь на четвёртое октября тысяча девятьсот сорок девятого, когда в Вышегорске проводили флот.

Проводка была государственной, по разнарядке, и по счёту она была самой большой работой, которую село делало за двести лет. Верфь отдала весь приписной флот: сто девяносто судов — сейнеры, шхуны, катера, лихтеры, баржи с оснасткой, — всё, что имело номер в судовых ролях Архива, должно было уйти по большой воде на север, к новому порту приписки. Люди на верфи работали три недели без выходных. Капитолина Берегова, смотрительница Архива судовых ролей, проверила каждую роль лично и каждую подписала: имя судна, номер роли, дата выхода, порт назначения. Сто девяносто строк. Ни одна не была закрыта на выход — потому что закрыть строку на выход нельзя: строка закрывается приходом.

В ту ночь над лиманом стоял туман — нормальный, осенний, октябрьский. Проводку решили не задерживать: разнарядка есть разнарядка, а погода в Вышегорске — как очередь, её не выбирают. Колокольный знак дал отбой в двадцать три сорок. Флот вышел в лиман: гудки шли с воды два часа, ровные, тёплые, как и полагается гудкам, за которыми работа. Потом гудки стали уходить. Потом они стали не доходить.

То, что случилось дальше, в Вышегорске потом рассказывали по-разному, но все рассказы сходились в одном: флот не прошёл горизонт. Он не скрылся за ним — как скрываются корабли, — он не дошёл до него. Туман закрыл лиман, как закрывают книгу, и когда туман рассеялся к утру, воды были пустые. Ни одного огня, ни одного силуэта, ни одной мачты. Море, которое никто никогда не считал должником, взяло сто девяносто судов и не вернуло. Не утопило — следствий не было: ни доски, ни бочки, ни спасательного круга, ни масла на воде. Не вернуло — и всё. В учёте такое называется не потерей. В учёте такое называется незакрытая строка.

* * *

На верфи, у третьего стапеля, стоял мальчик девяти лет и ждал отца.

Отец его, корабельный мастер Аркадий Часовых, ушёл с флотом — мастера шли с судами, таков был порядок: кто собирал, тот и провожает до места. Уходя, он оставил сыну свою рабочую рукавицу — брезентовую, с кожаными ладонями, прошитую двойным швом, — не как вещь на память, а как вещь на счёт: «Держи. Я рукавицу верну». Мальчик знал, что значит такая фраза в доме корабеля: вернуть рукавицу — значит вернуться самому, потому что рукавица без руки не возвращается.

Мальчик стоял у стапеля всю ночь и всё следующее утро, и в полдень, когда стало ясно, что лиман пуст, он не заплакал и не ушёл — он сделал то, чему научил его отец: подошёл к стапелю, положил рукавицу на козлы и сказал вслух, как говорят приёмке: «Ожидаю». Потом пошёл домой и завёл отцовские наручные часы — по четырём делениям, медленно, как заводят то, что собирается выдержать год.

Ему было девять лет. Он ещё не знал слова «Ведомость» и не знал, что за ожидание назначают цену. Он просто ждал — и его ожидание было таким точным, таким ровным и таким тяжёлым, что через восемь лет по нему нашлась целая контора.

* * *

А в Архиве судовых ролей, в ту же ночь, работала молодая помощница смотрительницы — человек, который потом уедет в города и которого будут звать Пётр Игнатьевич. Ему было двадцать три, и он был здесь по учёбе: столичная практика на крайнем порте. В два часа ночи он вписал в вахтенный журнал Архива первую строку о том, что флот не дошёл до горизонта. К утру он вписал их сто девяносто — по числу ролей, — и смотрительница, проверив его рукой, сказала слова, которые он запомнил на сорок лет вперёд:

— Смотри, Пётр, что ты сейчас сделал. Ты не вписал потерю. Ты вписал ожидание. Это разные вещи: потерю государство компенсирует и закрывает. А ожидание не компенсируется никем. Оно стоит, пока не вернётся то, чего ждут, — или пока некому станет ждать.

— А если не вернётся? — спросил он.

— Тогда очередь, — сказала смотрительница и посмотрела в окно, на маяк. — Пока есть кому ждать, очередь — это караул. А караул не рассыпается. Свет будет считать, Пётр. У нас тут всё по-честному: одна строка — одна вспышка. Сто девяносто вспышек в час. Считай не пересчитать.

Маяк за окном мигал. Первые свои сто девяносто вспышек он отсчитал ещё до рассвета — и с той ночи не остановился ни разу.

Глава 1. Заявка

Заявку на третью смену Матвей Снегирёв писал в морге, за тем же столом, за которым год назад принимал первую, и написал её с первого раза — потому что форма у него была перед глазами: страница сорок семь Городской книги аудита.

Заявка. Прошу принять смену при маяке села Вышегорска, при Архиве судебных ролей, срок — по большую воду. Староволжск передаётся по правилу пятому. Гельмарск — по согласию второй стороны. Аудитор: Матвей Андреевич Снегирёв. Вторая сторона: Эльга Степановна, хранитель гельмарской картотеки, аудитор по бою. Приложение: перчатка, одна, положена в учёт Гельмарска, о правах — отдельным письмом.

Заявку он писал в двух экземплярах — как учили: один в тетрадь, один под конверт. Конверт был плотный, желтоватый, из тех бумаг, на которых в прошлые века писали прошения, и адреса на нём было два, через косую черту: «Вышегорск. Маяк / Морю». Матвей посмотрел на эту косую черту, подумал и перечеркнул её — не убрал, а именно перечеркнул горизонтально, превратив в дробь.

— Правильно, — сказала Лиза с порога, не глядя. Она принесла чай в кружке «Лучший в учёте» и увидела дробь через стекло дверей — у бухгалтеров зрение на знаки тренируется тридцать лет, тут ошибиться трудно. — Дробь — это когда с одного счёта списывают в два места. Вы едете, а остаётесь.

— Вы читаете поверх папки быстрее, чем я пишу, — сказал Матвей.

— Я тридцать лет сверяю чужие декларации, — ответила Лиза и поставила кружку. — Декларации тоже думают, что их читают не целиком.

Разговор о передаче занял у них четыре минуты — по чётным, как было заведено. Четыре минуты — это когда каждый говорит по существу и никто не поднимает то, что не поднимешь. Толик примет дальний зал с февраля: Лиза выхлопотала ему ночную ставку, санитарский халат у него был честный, и за зиму он научился тому, чему не учат — стоять в зале так, чтобы строки не дёргались. Матвей спросил про три процента. Толик, как всегда в главных разговорах, ответил с непривычной для себя весомостью:

— Матвей Андреич, я теперь их слышу раньше, чем вижу. Как печку. Вы же не видите печку — вы чувствуете, что она топлена. Это и есть мой процент.

Матвей кивнул и записал в тетрадь напротив строки «Староволжск — смена»: «слух раньше глаза — пригодится». Он вообще стал записывать больше, чем раньше, — год в двух городах приучил: то, что не записано, потом не сверишь.

* * *

А во втором часу ночи в дальнем зале произошло то, из-за чего заявку он писал не наутро, а в ту же ночь.

Строка над телом, которое привезли в полночь, — обычная янтарная, ровная, без возраста, — шуршала. Шуршала не так, как шуршат строки: строки шуршат бумагой, у бумажного шороха есть возраст, Матвей различал их, как различают шаги в коридоре. Эта шуршала иначе — длинно, с раскатом, с паузой на конце, как шорох, который качается. Матвей встал в дверях зала и слушал, и Лиза через коридор слушала тоже, и они встретились в регистратуре, не сговариваясь, потому что слышали одновременно.

— У неё качка, — сказала Лиза. — Строки не качаются. Строки висят — в Староволжске они висят, я тридцать лет живу в городе, где они висят, у качки в морге быть не может.

— Может, — сказал Матвей, — если ждать должно не человека и не дом. — Он достал из ящика с описью январское письмо, положил на регистратуру и поднёс к лицу. — Вы нюхайте.

Лиза нюхнула, отвернулась и посмотрела на него так, как смотрят люди, у которых вся картина собралась сразу, но картина не понравилась. Конверт пах морем — не рыбой, не солью,

не водорослями, а именно морем: глубиной, расстоянием и терпением. У четырёхсоткилометрового от моря города конвертов с таким запахом не бывает.

— Строки качаются, потому что им оттуда передаётся, — сказала Лиза. — Качка идёт от воды. Как если бы очередь стояла на палубе.

Матвей не ответил — не потому, что было нечего сказать, а потому, что она сказала точнее его заявки, которую он два часа правил. Он взял карандаш и дописал в конце заявки то, что раньше считал деталью, а теперь ставил в строку:

Примечание: в Староволжске, в 400 км от лимана, строки качаются. Качка передаётся от воды. Сверка по маяку обещает быть не первой и не последней издалика — волна доходит дальше, чем адрес.

— Вы летом вернётесь? — спросила Лиза, когда он сложил экземпляры. — По большую воду — это когда? Вода в лиманах трогается в апреле. Значит, май. Значит, четыре месяца. Четыре месяца я, Толик и очередь.

— Вы справитесь, — сказал Матвей. — Вы тридцать лет держите чужие числа. Очередь — это тоже числа, просто они шуршат.

— Это вы мне говорили в декабре, — заметила Лиза. — Я тогда поверила. Теперь я спрашиваю не про справлюсь, а про вернётесь. Это разные графы.

Матвей посмотрел в дальний зал, где над телом шуршала качающаяся строка, потом на конверт с дробью. Про вернётесь у него ответа не было — не было и записи, а без записи он говорить не стал. Лиза поняла и это, потому что она была бухгалтер.

— Запишете с маяка, — сказала она. — По чётным. Три минуты.

И Матвей, впервые за месяц, обрадовался, что в Староволжске хотя бы один счёт закрыт заранее.

Глава 2. Зимник

Вышегорска не было на карте, которую Матвей держал на коленях, — и это, как выяснилось, было первым его правилом: не быть на картах. Село стояло на лимане, между устьем и обрывом, двести с половиной лет жило верфью и рыбой и ни разу не попросило дорогу больше одной. Дорога была одна — зимник, четыреста двенадцать километров по льду реки и старому тракту, с вешками через каждые сто саженей. По нему ходили два раза в неделю: почта и хлеб. Всё остальное шло водой, а вода в феврале стояла.

Эльга Степановна вышла к машине в Гельмарске, на Заводской, с мешком пирожков и с длинной коробкой, обёрнутой в полотенце. Матвей понял, что в коробке, не спрашивая: перчатку положили в учёт Гельмарска в новогоднюю ночь, и выдавать её было некому — у хранителя на неё не хватало прав, у комиссии, как писали из Вышегорска, хватало как раз. Эльга Степановна везла перчатку сама.

— Шестьдесят восемь лет я не выходила из своего архива дольше, чем на рысь до аптеки, — сказала она, устраиваясь на переднем сиденье и ставя мешок на колени. — А теперь еду за четыреста километров от своей картотеки, и картотека, заметь, не возражает. Это плохой знак, Матвей Андреевич. Возражает учёт — это его работа. Не возражает учёт — значит, он уже согласился, что на то время, пока я еду, его держать можно и без меня. Значит, он не про нас с тобой счёт. Он про большую воду.

Зимник приняли на первой же версте — тряско, ровно, по вешкам. Матвей вёл машину так, как ведут сверку: не спеша и не отставая. Снег лежал на льду ровным полотном, ветер подчистую вымёл его к берегу, и местами лёд был виден на всю толщу — тёмно-синий, с пузырьками, как застывшее окно. По такому льду в Гельмарске Матвей проверял затопленный посад, и память об этой проверке у него была рабочая: лёд показывает то, что под ним, только если по нему не ходят.

На девяностом километре машина пошла по льду широкой протоки, и Эльга Степановна вдруг попросила остановиться. Не срочно — просто попросила, как просят свернуть к знакомому месту.

— Слушай, — сказала она, когда двигатель затих.

Матвей слушал. Ветер по льду. Даль. Подо льдом — вода, глубокая, чёрная, текущая на север. И в этой воде, очень далеко, на самой грани слышимого, — гудок. Один. Ровный, низкий, корабельный, за которым слышно пространство, как за настоящим шагом слышен рост.

— Это не железная дорога, — сказала Эльга Степановна. — Я шестьдесят лет живу при вокзале: у поезда гудок короче, он в путь собирается, у него расписание. Этот — из воды. И он не собирается. Он стоит.

— Вы слышите бумагу, — сказал Матвей. — А это что?

— Это очередь, — ответила Эльга Степановна спокойно, как называют улицу, на которой прожила жизнь. — Я очередь слышу всегда, у меня на неё слух с пятьдесят седьмого. Очередь, которая стоит четыре месяца в одну сторону и не двигается, — это не гельмарская очередь, у нашей шорох другой, наш шорох коридорный. Эта — палубная. Матвей Андреич, подо льдом стоят корабли.

Они постояли ещё минуту. Гудок больше не повторился — или повторился так далеко, что слился с ветром. Матвей записал в тетрадь: «Км 90. Гудок из-под льда. Очередь палубная. Слышна с зимника». Эльга Степановна, взглянув на запись, попросила добавить одну строку — от себя, отдельной графой, как добавляют справку:

«Очередь дисциплинированная. Стоит по-гельмарски, но молча. Наши стоят и шуршат — им отвечают. Эти стоят и молчат — им не отвечают. Кто не отвечает очереди четыре месяца подряд — тот не город. Тот море».

* * *

К Вышегорску зимник спускался с обрыва длинной полкой, и с полки село было видно целиком: улицы вдоль лимана, верфь без лесов, колокольня, и справа, на мысу, — башня маяка. Белая, с чёрной полосой, рабочая. Свет на мысе стоял и днём — лампа горела круглые сутки, семьдесят шесть лет, — но днём его не было видно, только вечером.

Маяк начал мигать, когда до села оставалось три километра, — по зимнику в сумерках его огонь видно далеко, и Эльга Степановна стала считать вслух, сама того не замечая, — привычка человека, который шестьдесят лет ведёт учёт. На двадцатой вспышке она остановилась.

— Матвей Андреевич. Он не по кругу. Он по счёту.

— Я вижу.

— Я не про вижу. Я шестьдесят лет при одном свете — при лампе в подвале. И я тебе как хранитель говорю: свет не считает. Свет светит. А этот считает.

Матвей записал и это. В тетради уже лежали две строки о Вышегорске, и обе начинались не с того, что здесь есть, а с того, чего здесь быть не должно: очередь без шороха, свет со счётом. К третьей — про то, что за семьдесят шесть лет ни одна строка не закрылась, — он подобрался сам, по дороге, и перед самой полкой тракта она сама легла на страницу:

Вышегорск. Маяк считает, лёд молчит, очередь палубная. Аудитора здесь не было никогда. Значит, всё это время кто-то держал счёт без аудитора — и держит до сих пор. Спросить: у кого хватало сил семьдесят шесть лет держать свет, если у аудитора не хватало прав на перчатку.

Машина съехала с зимника на укатанный снег улицы. Ветер стих, будто его выключили вместе с двигателем. Где-то за верфью, на воде, коротко качнулось и стихло — как качнётся и стихнет ведро, если его тронули и поставили.

— Приехали, — сказала Эльга Степановна. — Пирожки, кстати, забери. С пирожками в такие места входят как с описью: по числу. Сколько строк встречаем — столько и печём. У меня сто девяносто. Мне на Новый год сказали в очереди: бери больше. Я взяла двести.

Глава 3. Вышегорск

Село приняло их без удивления — так принимают почту. У ворот верфи стояли двое: старик в овчине и мальчик лет двенадцати, оба с фонарями, и старик, взглянув на машину, сказал мальчику ровно то же, что сказал бы диспетчер о подаче состава: «Приехали. Беги к Береговой, скажи: аудитор и хранитель». Мальчик побежал. Старик остался стоять, и по тому, как он остался стоять — лицом к лиману, — Матвей понял, что у ворот верфи не дежурят: у ворот верфи ждут.

— Сколько ждёте? — спросил Матвей, когда они подошли.

— Всю жизнь, — ответил старик без обиды и без пафоса, как отвечают о выслуге. — Отец мой дежурил, я дежурю, внук побежал. У нас тут, если ты не слышал по дороге, все чё-то ждут. Кто отца, кто флота, кто воды. Я вот воды жду: хочу видеть, как она в лимане трогается. В апреле. Не пропустил ещё ни одного ледохода, и этот не пропущу.

Он сказал «аудитор и хранитель» без вопроса — как читают с конверта. Матвей уточнил, откуда он знал, кто едет. Старик показал подбородком на мыс:

— Береговой сказала. У неё с восемнадцатого года по маяку всё видно и всё слышно. Она тут — третья смотрительница. Дед мой при первой, отец при второй, я при третью живу. Пойдёмте, что ли, провожу — а то у нас в темноте к маяку идти неприятно. Не страшно, а неприятно: свет считает, слышишь, как считает, и всё время кажется, что недосчитал.

* * *

Дом смотрительницы стоял в двухстах метрах от маяка — приземистый, с вахтой при нём, и в вахте горел свет. Нина Исаковна Берегова встретила их на крыльце, в ватнике, высокая, седая, семидесяти одного года, и стала держать дверь, как держат счёт: не спеша и без вопросов. Пирожки Эльги Степановны она приняла первой, взвесила мешок рукой и сказала:

— Двести. Значит, верите, что нас будет больше ста девяносто. — И когда Эльга Степановна подняла брови: — Здесь всё по числу, хранитель. У нас село малое, но по числу живёт. Проходите, чайник на плите, а я вам сначала маяк покажу. Кто к нам приезжает, тот сначала маяк смотрит, потом разговоры. Так у нас с сорок девятого.

Маяк изнутри был простой и честный: чугунная лестница, сто двадцать восемь ступеней, на площадке — лампа в стеклянном колпаке, у колпака — экран с отражателем, а ниже, на отдельном креплении, — то, чего Матвей не встречал ни в одном городе: реле. Обычное, довоенное, с медными контактами, подключённое к часовой коробке с циферблатом и ручным набором. Циферблат показывал сто девяносто.

— Часовая коробка набрана на сто девяносто вспышек в час, — сказала Берегова ровно, как диктуют справку. — Одна строка — одна вспышка. Строк сто девяносто — вспышек сто девяносто. Лампа меняется по расписанию, колпак чищу по средам, реле чиню сама, механика простая. Сорок девятый год, март: смотритель, дед мой, собрал счётчик за одну ночь, когда стало ясно, что флот не дошёл до горизонта. Сказал тогда матери моей: «Свет пусть теперь работает по ролям». С тех пор набора не трогали. Я девочке была, у меня пальцы не дотягивались до ручки набора. Потом дотянулись — и не полезли.

— Кто вам сказал, что мы едем? — спросил Матвей. — Конверт был адресован маяку. Ответа я не давал.

— Никто не сказал, — ответила Берегова. — Я пришла в вахту в шесть вечера, по журналу, как всегда. А в журнале против восемнадцатого февраля запись моей рукой: «Ожидая гостя из Староволжска, гостью из Гельмарска, перчатку». Записи в журнале появляются двумя способами: рукой смотрителя или по счёту. Рука моя — вторая половина страницы. Первая половина — счёт. Это не я писала, но пометка моя, значит, правильная: я в этом журнале не

пишу, чего не было. — Она закрыла журнал и посмотрела на Матвея без вызова. — Вы аудитор, у вас тетрадь. У нас журнал. Что-нибудь из этого вам знакомо. Значит, сговоримся.

* * *

Чай пили в вахте. Берегова разливала по кружкам и говорила село — коротко, по опорным числам, как диктуют балансы. В селе триста с небольшим дворов, из них жилых — двести шестьдесят один. Верфь стоит с шестьдесят третьего — тогда сдали последний заказ и сняли разрядку. Школа одна, до восьми классов. Хлеб — два раза в неделю, зимником. Море — в четырёхстах метрах от каждой улицы, и никто в селе с ним не спорит.

— И флота здесь ждут? — спросил Матвей. — Открыто ждут? Триста дворов, семьдесят шесть лет.

— Открыто, — сказала Берегова. — У нас от стариков не было спора про то, вернётся или не вернётся. Спор был один, в пятьдесят третьем, — сход, да так и не сход: деревня обсуждала, как считать вернувшимся. Если судно вернётся с экипажем — вернулось. Если вернётся пустое — вернулось или нет? Решили: вернулось, но не отдали. Записали в журнале схода, и больше к вопросу не возвращались. Математику, молодёжь, не трожьте: она у нас по-стариковски, но зато не путается.

Эльга Степановна слушала, отхлебывая чай, и в какой-то момент — Матвей заметил это по тому, как она поставила кружку — перестала пить. У неё менялся слух, когда счёт рядом: она говорила потом, что услышала в вахте то, чего не слышала с зимника, — не гудок и не очередь, а мерную, далёкую качку, как будто в четырёхстах метрах от дома качалось на воде что-то большое и терпеливое. И тут же, следом, — шорох. Бумажный. Двести шагов.

— Архив, — сказала она, поднимаясь. — Нина Исаковна, у вас в роле страницы шевелятся. Я хранитель, я шорох за стеной слышу по привычке — вы мне на р-р-р не обижайтесь. Что у вас лежит в Архиве, что оно шуршит, как шуршит?

— Сто девяносто судовых ролей, — сказала Берегова, не вставая. — Каждая роль — страница. Каждая страница — строка. Сто девяносто строк в очереди. Они качаются, хранитель, — она впервые за вечер усмехнулась, коротко и не весело. — Они у нас с сорок девятого качаются. По-здешнему это называется: вода дышит. Пойдёмте в Архив, пока поздний час: пусть сами услышите, как оно дышит. Темно будет. Темно — и хорошо: вы же ночью работаете.

Глава 4. Архив ролей

Архив судовых ролей стоял между вахтой и обрывом — бревенчатый, на высоком цоколе, с железной дверью и тремя зарешеченными окнами. Внутри был один зал: стеллажи вдоль стен, в середине — длинный стол под зелёное сукно, на столе — лампа, песочница и вазон с бумажными цветами. И воздух. Матвей вошёл — и понял, что запах Вышегорска, который он принял было за запах рыбы, ветра и смолы, идёт отсюда: пахло старой бумагой, солью и, очень глубоко, тёмной водой.

Берегова зажгла лампу, сняла с гвоздя ключ на верёвке и открыла стеллаж у северной стены — длинный, в девять полок. На полках лежали папки. Не скоросшиватели, не дела: папки ролей, сшитые вручную, с корешками по формуляру, и на каждом корешке — номер, название судна, дата выхода. Матвей прочёл ближайший: «Сейнер „Прибой“. Роль № 41. Вышел 04.10.1949. Ожидается». Слово «ожидается» было вписано той же рукой, что и номер, — чисто, с нажимом, двадцать три года назад.

— Сто девяносто папок, — сказала Берегова. — Каждая роль — страница. Сорок девятый год выходил на север всем приписным составом, по разнарядке, до судна. Кто собирал флот — тот и считал: сто девяносто единиц, ни одной лишней, ни одной чужой. Мы тут не путаем: роль — это не книга и не папка. Роль — это строка, на которой судно записано. Папка — чтобы строка лежала, а не стояла.

Эльга Степановна сняла перчатки — она надевала их, как только въехала в село, простые шерстяные, рабочие, — и положила ладонь на корешок ближайшей папки. Постояла. Потом сняла руку, посмотрела на Матвея и сказала так, как говорят диагноз, который уже подтвердили:

— Дышит. Матвей Андреич, она дышит. Я держала гельмарскую очередь шестьдесят восемь лет: очередь шуршит, когда ждёт, и молчит, когда спит. Эта не шуршит и не молчит. Она качается. Под ладонью — качка, как на палубе, вот здесь, у корешка, амплитуда меньше, — она провела рукой вниз, к краю полки, — а здесь больше. Верх папки качается меньше, низ больше. Понимаешь, что это значит? Строка стоит на воде. Не рядом с водой — на воде.

— А откуда у вас бумага с качкой? — спросил Матвей у Береговой. — Кто её сюда принёс? У кого-то была рука, которая вписала сто девяносто строк.

— У Петра Игнатьевича, — сказала Берегова просто. — Наш помощник, столичная практика. Он вписал. Мы не знаем, как это устроено у вас в городах — у нас тут всё просто: судно вышло по роли, не вернулось к сроку, значит, роль не закрыта, значит, строка стоит. Он вписал каждую, своей рукой, и смотрительница, Капитолина Ильинична, подписала. В ночь на пятое октября сорок девятого. — Она посмотрела на Матвея внимательно. — Вы его знаете. Я по вашему лицу вижу, что знаете.

— Я получил от него тетрадь, — сказал Матвей. — Сорокалетнюю, Городскую книгу аудита. В ней сорок семь страниц, на сорок седьмой — «Учёт жив, пока есть кому передавать» и приписка: «Я передал смену дважды». Я думал, обе передачи — по городам.

— Первая была сюда, — сказала Берегова. — В марте пятидесятого он уезжал, и дед мой принимал у него Архив. Не смену — он прямо говорил: «Смену принять не могу, я не аудитор, у меня права нет». Вот и всё, что вам надо про право, господин аудитор: тут право не совпадает со способностью семьдесят шесть лет. Дед держал Архив до шестьдесят восьмого, мать держала до две тысячи второго, я держу с две тысячи третьего. Три смотрительницы, семьдесят шесть лет, ни одной закрытой строки. А смены нет: смену принять некому было.

* * *

Матвей обходил стеллаж — медленно, как обходят первую очередь в новом городе, — и по пути читал корешки. «Шхуна „Заря“. Роль № 7». «Лихтер № 112. Роль без имени». «Катер

лоцманский „Отрада“. Роль № 3». Номера шли не подряд — роли назначались по мере приписки, за сто двадцать лет, — но все сто девяносто имели одну дату выхода и одну строку «Ожидается». На папке № 1 корешок был перерисован заново: поверх старого номера, по старым чернилам, шла свинцовая подкладка, и Матвей, увидев свинец, остановился. В Гельмарске свинцом писали залог города.

— Это не залог, — сказала Берегова, проследив его взгляд. — Это роль номер один, «Отрада», лоцманский катер. На нём Вышегорск провожал флот: лоцман вёл головное. Когда стало ясно, что не дошло, Капитолина Ильинична взяла свинец и обвела номер. Сказала: первая строка — первой и лежит, свинцом, чтобы никто не спутал, что очередь началась с неё. У нас очередь с головы начинается, не с хвоста. Мы тут не бумажная контора, у нас память в счёт идёт.

Эльга Степановна всё это время ходила вдоль стеллажа — считала, потому что без счёта она не ходила. На северной стене — сто девяносто папок, тут она была права, счёт сходился. Но у восточной стены, отдельно, на собственной полке, стояла сто девяносто первая папка — тонкая, старая, перетянутая шпагатом. На корешке не было номера. Была одна строка, писаная рукой Петра Игнатьевича:

«Ожидает: вторую передачу».

— Это его строка, — сказала Берегова. — Он вписал её сам, перед отъездом. Сказал деду: роль, которую вписываешь себе сам, стоит вне счёта — маяк её не считает, поэтому вспышек сто девяносто, а папок сто девяносто одна. Пусть лежит. Придёт вторая передача — закроется. Дед к этой папке подходил тридцать лет. Мать — ещё тридцать. Я подхожу, когда в Архиве работа. Строка ещё качается, хранитель. Значит, не закрыта.

Матвей стоял и смотрел на сто девяносто первую папку — и впервые за всю свою аудиторскую работу чувствовал себя не тем, кто пришёл закрывать очередь, а тем, кто пришёл в очередь, которая старше его на два поколения. Он открыл тетрадь и записал:

Архив судовых ролей. 190 строк — суда, все «Ожидается». 191-я — сам Пётр Игнатьевич, «Ожидает: вторую передачу». Вспышек — 190. Счёт маяка не считает строки, вписанные себе. Вопрос к сверке: чья вторая передача закрыла городскую книгу — и кто вписал январское письмо, если не смотритель.

Глава 5. Качающиеся строки

Первую ночь в Вышегорске Матвей отработал, как отрабатывал любую первую ночь в новом месте: по сверке. Город висел над лиманом тихо и плотно, строки тут не висели — он уже видел, что у них другая механика, — и в два часа ночи, когда любой счёт начинает говориться правдивее, он вышел из вахты на берег.

Лёд на лимане стоял ровный, чёрный, со снежной пылью. Луна прошла первая четверть, и при такой луне, как учил Толик, всё видно на четверть лучше, чем есть. Матвей дошёл до линии полыньи — у Вышегорска она держалась всю зиму, течение у обрыва, — и встал.

Внизу, под льдом, шли огни.

Не отражение: отражение дрожит от ветра и стоит под ногой. Эти шли. Далеко, глубоко, ровной кильватерной колонной — один огонь, за ним второй, за ним третий, — белые, спелые, с той жёлтой примесью, которую даёт старая лампа за толстым стеклом. Колонна шла медленно, со скоростью хорошего пешего шага, и не приближалась и не удалялась: шла параллельно берегу, вдоль обрыва, как ходят по рейду, ожидая места у причала.

Матвей считал. Он считал профессионально, по глазам, по тактам, — и к десятому огню перестал сомневаться в счёте и начал сомневаться в другом: в том, что огни идут мимо. Колонна шла вдоль берега — а берег ей не был нужен. Судно, которое ждёт порт, идёт к порту. Судно, которое идёт мимо порта четыреста метров от него, — не ждёт порта. Оно ждёт чего-то, что стоит на берегу, и не решается подойти.

— Не смотрите долго, — сказали за спиной.

Матвей обернулся. Берегова стояла на краю берега, в ватнике, с фонарём, погашенным. Она пришла беззвучно — по снегу у смотрительницы поход получался тише, чем у аудитора.

— Почему? — спросил Матвей.

— Потому что они считают ваши глаза, — сказала Берегова. — Не в обиду: считают любого. Дед мой в сорок девятом стоял тут каждую ночь первую зиму, смотрел и считал. Потом перестал — по работе. Сказал матери: «Огни подо льдом — это не призрак, это очередь на рейде. Призраки подходить не умеют, очередь умеет. Кто долго смотрит, тому рано или поздно покажут борт, а борт показывают только тем, кого зовут». Вы же аудитор. Вам позовут раньше, чем всем.

— Сколько их? — спросил Матвей.

— Сто девяносто, — ответила Берегова так, как отвечают про баланс. — Считали в пятьдесят третьем, всем селом, по одному вечеру: становились по берегу, каждый считал свою полосу, складывали на сходе. Сто девяносто огней, сто девяносто ролей, сходится. С тех пор больше не считали: зачем, если сходится.

* * *

Дома, в вахте, пока Берегова грела чай, Матвей достал тетрадь и выписал столбцом то, что уже было известно про Вышегорск. Столбец получился короткий и страшный — не страшностью слов, страшностью сходимости. Сто девяносто судов в ролях. Сто девяносто вспышек в час. Сто девяносто огней подо льдом. Сто девяносто строк, качающихся на воде. Четыре счёта, один итог, ни одного расхождения.

В Староволжске, когда Матвей принимал смену, Ведомость висела над городом, и город её не видел. В Гельмарске очередь стояла в больнице, и город её обходил. В Вышегорске счёт был раскладкой по всем поверхностям сразу: свет — по ролям, лёд — по огням, бумага — по качке. Матвей знал один город, который вёл себя так открыто, — но там счёт был за ночь, до боя, один раз в год. Здесь счёт шёл семьдесят шесть лет.

— У вас тут всё считается, — сказал он Береговой. — И ничего не закрывается. Вы не боитесь так жить?

— Я тут всё детство прожила, — ответила Берегова, — меня нельзя спросить, боюсь ли я жить. Могу спросить про работу: работа без закрытия — это не работа без результата, это работа без конца. Вы у нас первый человек за семьдесят шесть лет, который приехал именно закрывать. Стара, конечно. Но судовых ролей это не пугает: роли — терпеливые. — Она поставила перед ним чай и впервые сказала не справку, а то, что было под справкой. — А боюсь я, молодой человек, одного: что к большой воде мы не успеем. Не успеть — это когда вода пришла, а роль не готова. У нас это однажды было, в шестьдесят восьмом, вода большая пришла, дед в Архиве ночь просидел. Утром сказал матери: «Не готовы. Пронесло». Что он имел в виду под «пронесло», я не знаю. Больше он про это не говорил. Но маяк после той весны ещё месяц мигал с тройным усилием — реле горелое было, я чинила.

Матвей записал и это — отдельной строкой, с отступом, как записывают то, что придётся проверять в первую очередь. Внизу страницы он подвел черту и написал итог, который пока никому не показывал:

Вышегорск ждёт не абстрактно — у ожидания есть срок: большая вода. Всё, что стоит в лимане подо льдом, встанет в апреле на ход. Если к тому дню 190 строк не закрыты — очередь пойдёт на берег сама. Проверить, что было в шестьдесят восьмом.

Глава 6. Человек на льду

На третий день, под вечер, мальчик с верфи прибежал к вахте — не как бегают с новостью, а как бегают с определением: разогнался заранее, потому что знал, что сказал. Берегова слушала его у крыльца и дважды переспрашивала, что характерно, одно и то же:

— По льду идёт. Один. От самой протоки. Фонаря нет. — Она повернулась к Матвею, и лицо у неё было не встревоженное, а сверяющее: так сверяют цифру, которая должна была прийти, но пришла раньше. — Идёт по прямой, на маяк, мимо вешек не идёт, мимо вешек там ходу нет, Матвей Андреевич. Протока — это же к югу, тёплое течение, там лёд вообще редко встаёт. Кто идёт из протоки к нам по льду, тот идёт по льду, которого нет.

На берег они вышли втроём — Берегова, Матвей и Эльга Степановна, которая слышала раньше, чем увидела, и вышла уже с выводом. У края полыньи, в четырёхстах метрах, по льду шёл человек. Шёл тяжело, вразвалку, как идут люди, которые давно не шли и которым идти уже всё равно, — овчина на нём была старая, без блеска, шапка одета по-зимнему, и на плече у человека висела сумка из брезента, какая бывает у радистов и геодезистов. Лёд под ним держал.

— Я слушала, — сказала Эльга Степановна тихо. — У него нет шороха, Матвей Андреич. У людей, у нас с тобой, шорох всегда есть: бумага в кармане, ноги по снегу, дыхание — это всё шорох, я его с пятьдесят седьмого слышу. А у этого человека — как у папки с корешком: ровно. Он идёт, и его идёт как страница, которая открыта, — и всё. Он из учёта, Матвей. Не из города. Из учёта.

Человек подходил, и с каждым шагом по берегу расходилось то, что потом Матвей записал как «эффект вычеркнутого». В Вышегорске все огни горели: в окнах, в вахте, у маяка — село вечернее светилось по-домашнему, триста дворов. И когда человек на льду прошёл против берега, свет в домах над ним не менялся вовсе — не дрожал, не мигал, не тускнел. Свет не замечал человека. Свет замечал всех, кто шёл по зимнику: Матвей видел своими глазами, как в прошлое воскресенье верфь засветилась навстречу машине. Этот человек шёл по льду четыреста метров — и свет его не вёл.

— Свет его не считает, — сказала Берегова спокойно, и Матвей понял, что она тоже это видит. — Значит, счёта на него нет. Значит, он в реестрах не значится. Так у нас было только с одним, но об этом #ить нельзя, об этом у нас вообще молчать принято. Идёт, однако, к маяку. Свет не считает, а маяк...

Она не договорила, потому что маяк начал менять ритм. Сто девяносто вспышек в час шли мерно, по часовой коробке, семьдесят шесть лет — и вот, пока человек подходил к берегу, между двумя вспышками случилась пауза: длинная, человеческая, как пауза у того, кто перестал считать, чтобы посмотреть. Одна. Потом счёт пошёл дальше — ровно, по коробке. Но паузу видели все трое, и Эльга Степановна сказала то, что Матвей собирался сказать:

— Свет его заметил. — Она помолчала. — Свет семьдесят шесть лет не замечает ничего, он работает по набору. А тут — пауза. Это не механика, Матвей Андреич. Это счёт признал приход.

* * *

Человек вышел на берег выше полыньи, в двадцати шагах, и снял шапку. Лицо у него было старое — не по годам, а по счёту: так выглядят лица, которые долго числились не там, где должны. Глаза были молодые. Про это позже напишет Берегова в вахтенном журнале — «глаза юнги, остальное вычеркнуто» — но сначала человек сказал, без всякого вступления, голосом ровным и поставленным, как ставят радиопередачу:

— Семён Палыч Сводов. Радист. Из сорок девятого. — Он посмотрел на маяк, кивнул ему, как кивают старшему по званию, и сказал дальше: — Смена в Гельмарске, тысяча девятьсот шестьдесят третий год, принята до боя. Вычеркнут по всем реестрам, включая больнич-

ные, включая военкоматские, включая наши, то есть судовые. Шёл к вам, к маяку, шестьдесят два года. Смена здесь, при маяке, свободна с сорок девятого — и у меня к ней вопрос, но сначала проверка. — Он достал из сумки тетрадь, потрёпанную, сорокалетнюю, раскрыл на середине и показал Матвею страницу сорок семь. — Вы, стало быть, тот, кому передали Городскую книгу. Значит, вопрос у меня один, и он простой. Передача, что без оглядки, город оставляет на шестьдесят лет без учёта. Передача с оглядкой — возвращает. А смена, что с писателя снята, когда писателя вычеркнули, — она кто примет? Вы аудитор. Ответьте по правилам.

Матвей смотрел на страницу сорок семь — на ту самую строку, с которой начал свою работу, — и отвечал не сразу, потому что впервые в жизни отвечал человеку, которого учил умерший.

— Правило пятое, — сказал он. — Учёт жив, пока есть кому передавать. Второй появляется, если первый передал. Про вычеркнутых в правилах нет — значит, правила тут неполные, и это придётся дописывать. Но вы не вычеркнуты, Семён Палыч. Вот здесь, — он показал на тетрадь, — на странице сорок семь, где стоит «проверь, кто тебе это пишет», — стоит и рука, которая проверяла. Вы писали Пётру Игнатьевичу.

— Писал, — согласился Сводов и впервые за весь выход на берег улыбнулся — коротко, по-юнготски. — Проверять чужие строки — это по нашей части, господин аудитор. Я шестьдесят два года в вычеркнутых — но учёт-то на мне не кончается. Учёт на мне как раз и продолжается. Пойдёмте в тепле разберём. А то у меня по расписанию — смена, которую никто не принял с сорок девятого. Мелким-то шрифтом это в мандате не напишешь.

Глава 7. Юнга

В вахте Сводова посадили у печки, дали чаю и не стали задавать вопросов, пока он не высох. Он высыхал долго и методично, дрожа, как дрожат после дороги, которой не должно быть, — и, пока сушился, оглядывал вахту так, как оглядывают место, которое помнишь не живым, а по справкам. У окна на полке стоял приёмник — старый, ламповый, с гравировкой «Вышегорск, радиостанция, 1948». Сводов увидел его раньше стола.

— Мой, — сказал он Береговой. — Мой приёмник. Я его с сорок восьмого держал, в радистской при верфи. Когда флот уходил, я остался на берегу — меня сняли с первой же смены, молодого, в матросы не взяли. Приёмник оставили на месте. Значит, сто двадцать восемь месяцев, а он на месте. У вас тут, смотритель, вещи-то держатся лучше людей.

— У нас вещи и есть люди, — ответила Берегова без пафоса. — Судовая роль — это же не про корабль, Семён Палыч. Роль — про судно, про строку. Кто держит роль — тот держит судно. Дед говорил: свет держит счёт, я держу свет, роли держат нас всех. Вы же сами радист — вы это лучше нас знаете: пока станция работает, судно на связи. Пока роль открыта, судно в списке. Пока судно в списке — оно не утонуло, оно в рейсе.

— В рейсе, — повторил Сводов, и слово он произнёс так, как люди произносят место, где прожили жизнь. — Семьдесят шесть лет в рейсе. Хорошо сказано, Нина Исаковна. Я в шестьдесят третьем принял смену Гельмарска до боя — потому что молодой был и думал, что смена — это когда ты сильный. Мне Эльга Степановна тогда выговор не давала — мне выговор дала очередь: она встала на боевом взводе, и меня по ней же и вычеркнули. Шестьдесят два года я был человек без реестра. Вы понимаете, что это такое? Ни документов, ни города, ни права на смену, ни права на память. Даже смерть моя бы, если б случилась, не смогла бы найти, куда встать. — Он отпил чаю. — И один я не растерялся только потому, что у меня была дорога. Вычеркнутому доступна одна дорога: он не вернётся назад, к нему же вычеркнутые пути ведут. А вперёд — только одна. На маяк. Сорок девятый год — последняя точка на карте, где меня помнили без вычеркивания.

* * *

Историю юнга Сводова Матвей записал в тот же вечер — со слов, по вопросам, как берут объяснение, — и сделал выписку в тетрадь, потому что от истории этой зависел счёт. Вот что выходило.

Семён Палыч Сводов, тринадцать лет, сын радиооператора Вышегорской радиостанции, в сорок девятом был зачислен юнгой на сейнер «Прибой», роль № 41, — не в экипаж, а «при судне»: учиться, таскать, слушать. Флот уходил четвёртого октября; за день до выхода у него кончился срок анализа крови, его списали на берег до исправления — по-человечески, к обиде, на всю жизнь. Флот не вернулся. Мальчик, которого сняли, оказался человеком, которого не взяли.

Пятьдесят лет он искал флот по всем инстанциям, которые есть: по районам, по архивам, по военкоматам, по морским обществам. По всем — кроме одной. В шестьдесят третьем он пришёл в Гельмарск — не за флотом, за работой, но работу там выдали другую: очередь в больнице встала, и ему, человеку, который слышал эфир, было предложить смену. Он принял до боя — молодым же. Гельмарск его вычеркнул. И вот тогда, в вычеркнутости, он понял то, чего не понимал пятьдесят лет: флот не надо было искать. Флот надо было ждать — в единственном месте, где его кто-то держал: в судовых ролях. Он узнал про Архив от Эльги Степановны, из разговора при папках, и с того дня начал идти.

Шёл он, как шли вычеркнутые, — медленно, кочевьем, за теплотрассами, за маяками, по берегам, нигде не оставаясь. Сорок два года. Пришёл зимой, по протоке, потому что все дороги, кроме прямой, были для него закрыты.

Выписка. Сводов С. П., 1936 г. р., юнга сейнера «Прибой», роль № 41. Единственный из флота 1949 года, вернувшийся на берег. Вписан в роль как убит — не выписан. Строка его роли: открытая. Человек жив, строка не закрыта: живому, вернувшемуся из рейса, строку должна закрыть та же рука, что вписала. Кто вписал — Пётр Игнатьевич. Где рука — неизвестно. Проверка на месте: закрыть вручную нельзя. Проверено: Берегова, три раза, разными способами.

— Я вам сейчас скажу главное, и не потому, что вы аудитор, — сказал Сводов, когда Матвей дочитал выписку. — А потому, что вы, кажется, единственный за семьдесят шесть лет, кто может это услышать. Вычеркнутые не теряют память — они теряют учёт. А учёт — это способ не потеряться. Вы мне вернёте учёт, господин аудитор, — и я вам скажу то, чего не знал дед смотрительницы, не знала мать, не знала Нина Исаковна, потому что им этого не показывали: — Сводов поставил кружку и посмотрел в окно, на лиман, где подо льдом шли огни. — Они не утонули. Они стоят на рейде. Я это слышал по эфиру одну ночь, в сорок девятом, в ноябре, я тогда ещё мальчику-радиооператору стучал: «Прибой» — «Вышегорск, приём». Ответа не было. Но я слышал, как стучали они — оттуда, из-под льда, медленно, по-мёртвому ровно: «Стоим. Ждём. Не тонем». У вас тут, в ролях, написано «ожидается». Правильно написано, судовые люди писали. Не потеря, не гибель. Ожидается.

И маяк за окном мигнул — ровно, по коробке, сто девяносто вспышек в час. Но Матвей, который теперь знал ритм, как знают голос, услышал, что на две вспышки счёт задержался.

Глава 8. Сто девяносто

Сверку Архива начали на пятый день — утром, при свете, потому что Берегова сказала: роли — не городской счёт, их по ночам не трогают, при них работают днём, при всех, и это у нас правило: у нас от ролей никто не прячется, мы от них одни не живём.

Стол накрыли сукном, песочницу сдвинули к центру. Папки выносили из стеллажа по номерам — Берегова выносила, Эльга Степановна принимала на слух, Матвей вписывал. Механика была простая, если не думать о том, что бумага дышит. Берегова ставила папку на стол, открывала, Матвей читал роль вслух: название судна, тип, тоннаж, экипаж, дата приписки, дата выхода, порт назначения. Эльга Степановна слушала — и по тому, как шуршала страница, говорила состояние строки: «ровная», «мокрая», «дышит глубоко», «сегодня ровнее». Матвей вписывал в тетрадь номер роли и оценку. Потом папку закрывали, и Берегова уносила её обратно — не как папку, а как судно, которого ждут, и на полке она ложилась так же, как лежала: качаясь.

К полудню прошло двадцать семь ролей. Матвей заметил закономерность на роли № 19 — «Плоскодонная баржа без имени, роль № 19»: у безымянных строк качка была меньше. Он сказал об этом вслух, и Эльга Степановна, которая двадцать семь раз уже об этом подумала, ответила сразу:

— Потому что её никто не ждёт по имени. Матвей Андреич, ты вообще-то открыт главную штуку этого Архива, только тебе кажется, что это про баржу. Смотри: у строк с именем — «Заря», «Прибой», «Отрада» — качка полная, палубная. У безымянных — маленькая, как у бочки. И вот тебе вопрос по учётной части: кого ждёт безымянная строка? Судно ждёт порта, экипаж ждёт берега, семья ждёт судна. А баржа без имени — её ждёт только роль. Одна строка на всю баржу — и то формальная. Она качается слабо, потому что держится на одном ожидании — на нашем. Мы её здесь семьдесят шесть лет ждём, в списках. Вот и вся её качка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.